Будущему редактору
Аркадію Николаевичу
Вал. Свенцицкій и В. Эрнъ.

№ 1.

Взыскующимъ Града.

I. Къ «взыскующимъ Града».
II. Объ одномъ недоумѣніи.
III. Духовный блудъ.
IV. Торжествующая ересь.
V. «Абсолютное добро» и А. И. Гучковъ.
VI. Къ чему ведетъ русская революція.

Цѣна 15 коп.

БИБЛІОТЕКА
СОЦІАЛИСТ...
АК...

Москва, Моховая, д. Бенкендорфъ, книжный магазинъ
Д. П. Ефимова.
1906.

16

„Пров 38"
Пров. 1959
Пр.
В.42/35
Свс

Дозволено цензурою. Ростовъ н/Д., 30 ноября, 1905 г.

206 56

Типографія А. П. Поплавскаго, Лялинъ пер., свой домъ.

Взыскующимъ Града.

1.

Къ «взыскующимъ Града».

Начиная свое литературное обращеніе «къ взыскующимъ града», невольно хочется прежде всего сказать о томъ, что такое для насъ литература, и почему мы считаемъ себя не только въ правѣ, но даже обязанными ко всей массѣ ежемѣсячно выходящихъ книгъ, брошюръ, всякой печатной бумаги,—прибавить еще и свое изданіе.

Причина болѣе чѣмъ простая. Но можно поручиться, что сказать ее прямо, безъ всякихъ оговорокъ,—это значить вызвать бурю негодованія, если только еще соблаговолятъ удостоить гнѣвомъ никому неизвѣстныхъ литераторовъ. Вѣдь въ нашъ просвѣщенный и культурный вѣкъ, чтобы имѣть *право* сказать истину, надо, выражаясь словами Горькаго, «сорокъ штановъ износить». Сколько же штановъ, спрашивается, нужно износить для того, чтобы имѣть право заявить открыто о причинахъ нашего обращенія къ читателямъ въ формѣ этого дневника? То, что мы скажемъ, съ перваго взгляда покажется даже не парадоксомъ, а просто нелѣпостью, на которую не стоитъ обращать вниманія.

Одни только, такъ называемые, «маститые писатели» имѣютъ право говорить первый пришедшій имъ въ голову вздоръ. Пусть такъ. И все-таки, мы не можемъ не объясниться съ читателемъ откровенно. Имѣйте терпѣніе дочитать до конца, можетъ быть и простите насъ. Итакъ, что же толкаетъ насъ на изданіе «взыскующимъ Града»?

Вотъ что. Глубочайшее, непоколебимѣйшее убѣжденіе, что вся наша публицистика (понимая это слово въ самомъ широкомъ смыслѣ), взятая въ своемъ цѣломъ, сплошная, въ принципъ возведенная ложь. Ложь, которую далѣе сносить мы не хотимъ, не можемъ и считаемъ для себя непростительнымъ позоромъ. Она должна быть обличена. Сдѣлать это можно не обычными критическими пріемами, когда для критики ничего положительнаго за душой не требуется, а наоборотъ, противоставляя лжи правду.

Все это болѣе чѣмъ смѣло, отзывается мальчишескимъ самохвальствомъ, или шарлатанской затѣей устроить литературный скандалъ. Скажемъ прямо: такой тонъ просто литературное неприличіе.

Но насъ ни одной секунды не пугаютъ всѣ эти эпитеты. Мы хорошо знаемъ имъ цѣну. Для насъ совершенно очевидно, что источникъ ихъ все та же ложь, которой, какъ язвой, разъѣдена наша литература.

Теперь уже многіе освобождаются отъ гипнотическаго страха, подъ которымъ эта ложь держала всѣхъ просвѣщенныхъ русскихъ люде а другіе, ихъ число еще больше, по первому слову

готовы признаться, что они собственно давно ужъ и бояться перестали.

А Герценъ, Чернышевскій, Добролюбовъ, Писаревъ, Михайловскій!?.

Да, конечно... только видите ли въ чемъ дѣло. Случалось ли вамъ страдать? Глупый вопросъ,— скажете. Но мы тутъ спрашиваемъ о страданіяхъ исключительныхъ, о жгучихъ мукахъ, когда жизнь становится безумнымъ кошмаромъ и все въ душѣ застываетъ отъ тупого безысходнаго томленія, и вотъ въ такую минуту остраго одиночества (ужъ конечно, одиночества, развѣ можетъ быть *такое* страданіе не одинокимъ?), вдругъ вамъ станетъ ясно, что все ваше спасеніе въ томъ, чтобы почувствовать чью-нибудь такъ же страдающую душу, съ кѣмъ-нибудь пережить ту же боль, что и ваша, словомъ—невидимо ощутить подлѣ себя любовь, дружбу, трепетное біеніе сердца, такого же слабаго, такого же измученнаго, какъ ваше. Вамъ захочется говорить о своихъ думахъ и сомнѣніяхъ съ тѣмъ, кто такъ же какъ и вы переживаетъ ихъ. Вы схватитесь за нашу современную литературу. О, конечно, вы не знаете его, измученнаго писателя, онъ гдѣ-нибудь въ тиши, далекій отъ всѣхъ, проливалъ свои кровавыя слезы. Но ваша душа, чуткая въ своихъ страданіяхъ, сумѣетъ его понять и полюбить заочно. Въ его страданіяхъ вы найдете высшія силы дальше итти и искать.

Мы убѣждены, мы утверждаемъ, что если вы когда-нибудь подойдете къ литературѣ въ такомъ состояніи, съ душою открытой для любви и общихъ

мукъ—вы какъ отъ ядовитой змѣи броситесь прочь отъ нашей лживой, мертвой «профессіональной» литературы. Вы почувствуете себя оскорбленнымъ въ своихъ лучшихъ чувствахъ, какъ человѣкъ, открывающій душу свою и въ отвѣтъ слышащій наглый смѣхъ. Мы пережили это, мы знаемъ всю эту ложь, наглую ложь литературы, которая по ироніи двусмысленно зовется «отраженіемъ жизни». Литературная ложь самый непростительный, самый преступный видъ лжи. И между тѣмъ, по какому то курьезному недоразумѣнію, превратившемуся почти въ культъ, за литературную ложь общество не клеймитъ позоромъ и не требуетъ ни у кого отчета. Литература и ложь такъ слились другъ съ другомъ, что вторая стала почти самымъ главнымъ отличительнымъ признакомъ первой.

Нужно различать два совершенно различныхъ вида литературной лжи: въ первой мы обвиняемъ всю нашу литературу (исключая беллетристики) взятую въ цѣломъ, во второй *авторовъ*, не исключая и большей части беллетристовъ.

Ложь перваго вида—самая вредная по своимъ послѣдствіямъ, самая традиціонная; она нашъ главный врагъ. Въ общей формѣ ее можно опредѣлить, какъ *ложь умолчанія*.

Здѣсь надо объясниться.

Бросалось ли вамъ въ глаза одно рѣзкое различіе между нашей художественной литературой и публицистической, (опять таки употребляя послѣднее слово въ самомъ широкомъ смыслѣ). Въ то время, какъ вся русская, художественная литература не только въ лицѣ своихъ геніальныхъ пред-

ставителей, но самыхъ заурядныхъ рядовыхъ ея,— проникнута «идеалистическимъ», какъ принято говорить, а по нашему—религіознымъ направленіемъ—публицистика, даже у талантливыхъ писателей, окрашена позитивизмомъ, а у рядовыхъ въ массѣ просто пошлой повседневностью.

Въ то время, какъ начиная съ Гоголя и кончая любымъ заурядnымъ журнальнымъ разсказикомъ, вся русская беллетристика—сплошное исканіе невѣдомаго Бога,—публицистика—самодовольное сидѣніе на мѣстѣ, гдѣ все очень просто и ясно. Отдѣльныя имена Герцена, Лаврова и немногихъ другихъ ничего не значатъ. Современная публицистика не ихъ духа. Она стала «дѣловой». Съ точки зрѣнія этой публицистики Иванъ Карамазовъ гораздо лучше бы сдѣлалъ, если бы, вмѣсто того, чтобы говорить съ чертомъ, отправился къ психіатру и пилъ бромъ, а Левинъ, вмѣсто своихъ «исканій», прочелъ «Эрфуртскую программу». Наша публицистика можетъ не краснѣя смотрѣть въ мученическое лицо Гаршина, и ее нисколько не тянетъ зайти послушать, что говорятъ въ палатѣ № 6. Къ чему? Все это болѣзненныя настроенія, c'est nérveux! Говоря о фактахъ, нужно быть строго научнымъ и освѣщать ихъ не въ связи съ тѣмъ, что пробуждаютъ они въ душѣ, а по всѣмъ правиламъ ортодоксальныхъ схемъ.

Ложь нашей публицистики и есть ложь ея позитивизма. Ибо этотъ позитивизмъ не есть результатъ опредѣленнаго міровоззрѣнія, а отсутствіе всякаго міровоззрѣнія. Если говорить не объ отдѣльныхъ лицахъ (по преимуществу уже умершихъ)

можно прямо сказать, что каждое наше современное литературное явленіе въ большей или меньшей степени—поддѣлка. Въ данномъ случаѣ мы упрекаемъ не въ сознательной неискренности, а въ традиціонной лжи, заставляющей писать не о томъ, что для автора *самое важное*, а о томъ, что возможно писать, не нарушая пошловатаго, въ законы приличія возведеннаго, кодекса. Нежеланіе внести свою живую, ищущую, страдающую душу въ нашу литературу—а постановка на мѣсто самаго важнаго для автора отшлифованныхъ, приличныхъ, безцвѣтныхъ фразъ—вотъ то, что порвало всякую связь истинно страдающихъ людей съ нашей литературой. Но пора понять, что теперь слишкомъ много людей, съ которыми нужно *вмѣстѣ* плакать, слишкомъ много людей, которые подходятъ къ литературѣ не какъ къ рюмкѣ водки для возбужденія аппетита, а какъ изстрадавшіяся, измученныя дѣти къ своей изстрадавшейся матери. Этимъ людямъ наша литература ничего дать не можетъ, потому что она боится заговорить о недозволенномъ по литературному этикету, потому что вся она отравлена ложью умолчанія.

Въ нашу исключительную эпоху ускоренной, лихорадочной жизни всѣ достоинства и недостатки, правда и ложь рѣзче обыкновеннаго бросаются въ глаза. Можетъ быть, потому и ложь умолчанія, которую преблагополучно терпѣли многіе годы, становится нестерпимой.

Сколько новыхъ изданій, сколько сотенъ, тысячъ брошюръ, сколько статей, фельетоновъ, открытыхъ

писемъ, памфлетовъ и пр. и пр. набрано наборщиками и отпечатано за послѣдній годъ. Аграрный, рабочій, женскій и прочіе вопросы, всеобщее, прямое, равное и тайное, всеобщее, но не прямое, прямое но не тайное, націонализація и соціализація, меньшевики и большевики, эсъ-эры, кадеты... словомъ, жизнь во-всю.

Ну, а любили за этотъ годъ? Умирали? Мучились, стрѣлялись? Не усложнилась ли внутренняя жизнь, не обострились ли всѣ взаимоотношенія, не утончилась ли психологія и не сдѣлались ли еще загадочнѣй, еще неотразимѣе настроенія и переживанія человѣческаго духа? Политическая, общественная и партійная жизнь не установила ли интимной, органической связи съ другой жизнью, которая полна радости, горя, разочарованій, сомнѣній, надеждъ? Гдѣ же живой человѣкъ? Живая человѣческая личность? Или все стало подъ гребенку всеобщее, прямое, равное и, главное, тайное? Вѣдь это же неправда, вѣдь это въ литературѣ только, это литературная ложь. Вся жизнь поднялась, вся жизнь всколыхнулась, и это литературная клевета, что *все* политика заслонила. Наоборотъ, люди никогда такъ не страдали, никогда такъ не искали святого града, не жили такой полной духовной жизнью, какъ теперь.

— Но позвольте,—скажете вы,—нельзя же объ аграрномъ вопросѣ не писать, когда всюду голодъ, нельзя же о рабочемъ вопросѣ не писать, когда рабочіе задыхаются отъ нищеты и труда, нельзя о женскомъ вопросѣ не говорить, когда полъ-Россіи лишается политическихъ правъ и правъ на высшее образованіе.

Вѣрно, совершенно вѣрно. Нельзя объ этомъ не говорить. Да, обо всемъ этомъ долженъ говорить публицистъ. Но онъ долженъ говорить такъ, какъ это есть *на самомъ дѣлѣ*. Т. е., чтобы всѣ вопросы были такъ же органически связаны съ его общими вопросами, какъ они связаны съ его *живой* личностью, чтобы въ каждой строчкѣ отражалась правильная перспектива, и аграрный вопросъ и другіе разные вопросы, чтобъ занимали то именно мѣсто, которое они занимаютъ въ душѣ его. Тогда онъ будетъ писать *не только* объ аграрномъ вопросѣ. Тогда онъ «въ такой моментъ» не устыдится писать о томъ, что его «Богъ мучаетъ» и теперь, можетъ быть, больше, чѣмъ когда-нибудь. Да вы въ статьѣ же объ аграрномъ вопросѣ и напишите это. Пора бросить ложь умолчанія и *обо всемъ* говорить такъ, *какъ дѣйствительно* чувствуется. Тогда и только тогда истерзанная душа русскаго читателя наконецъ почувствуетъ себя дѣйствительно родной и близкой литературѣ, и найдетъ въ ней то, чѣмъ живетъ и болѣетъ сама. До сихъ поръ такая живая связь была только въ сферѣ художественнаго творчества. Пушкинъ, Гоголь, Тургеневъ, Толстой, Достоевскій, Гаршинъ, а въ наше время Чеховъ и Короленко безъ всякой лжи и умалчиванія раскрывали передъ нами невидимую намъ человѣческую душу со всей ея сложностью, со всѣми страданіями и надеждами. Ихъ творчество было ихъ подлинной жизнью. Они въ своихъ романахъ и повѣстяхъ передали намъ всю ту громадную работу, которую совершилъ ихъ духъ. Потому-то они и «идеалисты». Ибо, раскрывая все,

что дѣлается въ душѣ, обязательно договоришься до неприличій съ точки зрѣнія позитивизма. Что-нибудь одно: позитивизмъ—тогда ложь умолчанія; правда—тогда исканіе Града, область идеалистическая и религіозная. Тутъ не о теоретическихъ убѣжденіяхъ рѣчь. Мы не знаемъ теоретическихъ взглядовъ Чехова, Гаршина и другихъ названныхъ писателей, но совершенно убѣждены, что творчество ихъ подлинно религіозное.

Итакъ мы прежде всего будемъ бороться противъ лжи умолчанія. Это опредѣляетъ для насъ и первый пунктъ нашего отношенія къ литературѣ, въ которой мы видимъ одно изъ великихъ творческихъ началъ личности.

Публицистика, всякое частное мнѣніе по частному вопросу должны быть органически связаны не только съ міросозерцаніемъ теоретическимъ, но и со всей внутренней жизнью, какъ они связаны въ *живомъ* человѣкѣ. Литература не должна умышленно или неумышленно лгать, разрывая эту внутреннюю связь, но должна сохранять ее во всей ея дѣйствительной полнотѣ.

Въ русской литературѣ существуетъ только одинъ примѣръ такой публицистики, это—«Дневникъ писателя» Достоевскаго. Тамъ дѣйствительно все частное соединяется съ общимъ во внутреннемъ единствѣ, и, читая «Дневникъ писателя», *живешь* съ Достоевскимъ, а не узнаешь лишь отдѣльныя мысли его чисто головного свойства. Не даромъ иногда номеръ «Дневника» выходилъ въ формѣ повѣсти или разсказа. Вопросы политики, вопросы дня, пестрыя впечатлѣнія жизни сливались такъ тѣсно съ

напряженнѣйшими моментами его жизни, выражавшимися въ его художественномъ творчествѣ, что это не могло нарушить цѣльности «Дневника». Получая «Кроткую» вмѣсто обычнаго публицистическаго номера, никому не могло притти въ голову, что онъ получаетъ не «Дневникъ», а что-то другое. Нисколько. Предъ нимъ раскрывались только новыя лишь художественному творчеству доступныя глубины тѣхъ же идей, которыя раскрывались въ „Дневникѣ“ всегда.

Можно не раздѣлять идей «Дневника писателя», какъ въ огромной своей части не раздѣляемъ ихъ и мы — но не признать живую органическую его цѣльность невозможно.

Такимъ образомъ, это есть единственный примѣръ (если не считать отдѣльныя произведенія В. С. Соловьева), на который мы можетъ указать для поясненія того, что именно мы хотимъ отъ литературы, въ чемъ ея грѣхъ и почему мы считаемъ себя обязанными приступить къ нашему изданію.

Но все-таки главная критика и главный обвинительный актъ противъ современной литературы еще впереди, ибо не въ *отрицаніи* мы полагаемъ всю силу борьбы съ ложью, а въ утвержденіи подлинной правды, и критикою въ такомъ смыслѣ долженъ явиться весь нашъ дневникъ въ его цѣломъ.

Если первый видъ лжи можетъ быть названъ «ложью умолчанія», то второй наоборотъ—ложью

праздныхъ словъ. Причина первой лежитъ въ сознаніи, второй — въ волѣ. Тамъ ложь творчества, мыслей, воспріятій, здѣсь—ложь жизни; несомнѣнно между тѣмъ и другимъ существуетъ большая внутренняя связь. Вѣдь литература только тогда будетъ дѣйствительно отвѣчать своему великому назначенію, когда она будетъ живымъ лицомъ. Для этого она должна стать подлинно выраженіемъ лучшихъ, страдальческихъ минутъ жизни писателя. Читатель, когда читаетъ благородныя слова, долженъ *вѣрить*, что все тамъ написанное не просто «душевныя эмоціи», а сама жизнь. Онъ долженъ вѣрить, что писатель-художникъ безусловно такъ же *живетъ*, какъ пишетъ. Скажутъ: это личная жизнь, нельзя въ нее вмѣшиваться. Вмѣшиваться можетъ быть и нельзя, но мы, говоря о необходимости соотвѣтствія писательства и личной жизни, вовсе не элементарнымъ морализированіемъ занимаемся, а утверждаемъ, что эта ложь бьетъ сразу въ двухъ противоложныхъ направленіяхъ, въ одно и то же время развращая и личную жизнь, и литературу. Она устанавливается вовсе не какой-нибудь «очной ставкой», что вотъ, молъ, вы пишете о вредѣ кафе-шантана, а сами къ Омону ходите. Не въ этомъ тутъ дѣло. Вы могли бы писать о вредѣ кафе-шантана и пойти къ Омону, и все-таки никакого несоотвѣтствія между жизнью вашей и писаніями не было бы. Но для этого искренно и честно вы должны были бы считать зломъ именно то, что вы обличаете въ литературѣ, тогда центръ вашей жизни, вашъ *законъ*, опредѣляющій жизнь, въ общемъ вполнѣ давалъ бы вамъ

право писать такъ, какъ вы пишете. Нарушеніе закона вами воспринималось бы какъ грѣхъ, какъ мучительное паденіе, и въ свою очередь нашло бы свое выраженіе опять-таки въ вашемъ творчествѣ. Не къ чему прибѣгать къ «очной» ставкѣ для того, чтобы «уличить» писателя въ несоотвѣтствіи его писаній съ жизнью. Слѣдствіе этого грѣха такъ болѣзненно отражается на литературѣ, что язва обнаруживается безъ всякихъ юридическихъ пріемовъ. Ибо, если бы литература и жизнь дѣйствительно сливались между собой, то вы всегда бы нашли тамъ тѣ же страданія и тѣ же вопросы, что и въ вашемъ сердцѣ, какъ люди одной эпохи и одной страны. Какъ бы искусно ни пряталъ писатель своей личной жизни, сколько бы онъ ни писалъ горячихъ статей, воображая, что хорошими статьями онъ искупитъ плохую жизнь,—въ результатѣ ложь обнаружится въ самомъ его творчествѣ. Вы почувствуете прежде всего результатъ этой лжи въ томъ, что, подойдя съ открытой изстрадавшейся душой къ литературѣ, вы не найдете въ ней ни одного нужнаго вамъ слова.

Съ одной стороны литература молчитъ и лжетъ своимъ молчаніемъ, съ другой — у нея слишкомъ много словъ, ставшихъ не болѣе какъ писательской техникой. Слова эти, совершенно праздныя, никому ненужныя, ибо за ними не стоитъ ничья живая жизнь и къ этому второму виду лжи опять-таки всѣ такъ привыкли, что даже странно кажется требованіе безусловнаго соотвѣтствія литературной проповѣди съ личной жизнью. Къ чему? Но опять-таки есть несомнѣнные симптомы, что

и это требованіе назрѣло въ обществѣ, хотя и не сознано имъ во всей полнотѣ. Симптомы заключаются въ томъ *особомъ* интересѣ, сочувствіи и значеніи, которое пріобрѣтаетъ произведенія *завѣдомо* запечатлѣнныя въ личной жизни. Если сравнить самыя благородныя, самыя талантливыя, самыя литературныя статьи въ какомъ-нибудь изъ нашихъ журналовъ, написанныя «первокласными» публицистами съ отрывочными рѣчами, положимъ, Коляева, то громадная разница тѣхъ и другихъ будетъ очевидна. Слова того, кто черпаетъ право говорить ихъ изъ собственной жизни, обязываютъ. А слова «праздныя», хотя бы и самыя «литературныя», въ лучшемъ случаѣ, возбуждаютъ мимолетную тревогу. Общество еще боится свое чаяніе выразить въ формѣ требованія, но оно ужъ устало читать литературныя упражненія на благородныя темы и жаждетъ вѣры въ правду каждаго написаннаго слова. Когда вы теперь берете газету, журналъ или брошюру, за каждой благородной строкой вамъ не рисуется благороднаго лица, а грязная, изолгавшаяся литературная среда. Это становится тяжело нестерпимо. Этому долженъ быть положенъ конецъ, хотя бы въ томъ смыслѣ, чтобы у всякаго читателя было *отчетливое* сознаніе, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло. Что можетъ быть тяжелѣе положенія, какъ разговоръ съ человѣкомъ, которому не вѣришь. Правда, если онъ уменъ и талантливъ, слова его могутъ произвести извѣстное впечатлѣніе, но все-таки вамъ будетъ стыдно смотрѣть ему въ глаза, и души вашей онъ затронуть не въ силахъ. А вѣдь къ литературѣ въ ея цѣломъ у всѣхъ именно

такое отношеніе. Общество должно потребовать отчета у писателей въ ихъ жизни, и общественное мнѣніе должно безпощадно лишать права писать «праздныя слова».

Приступая къ изданію Дневника, мы твердо рѣшили всѣми силами бороться противъ той и другой лжи. Повторяемъ, это очень смѣло, это нахально, учить всю нашу литературу, какъ нужно писать. Пусть такъ. Обличая во лжи, мы не смущаемся быть даже нахальными. Мы хотимъ, чтобы нашъ дневникъ былъ плоть отъ плоти нашей и кость отъ костей нашихъ. Чтобы мы по чистой совѣсти могли сказать: когда мы садимся писать, предъ нами стоятъ не «читатели», а живые люди, и этимъ живымъ людямъ мы хотимъ открыть нашу живую душу. Если что покажется здѣсь неумѣстнымъ, или «нахальнымъ», или «не по праву»—не бѣда. Какое нужно въ самомъ дѣлѣ право сказать истерзанному человѣку: посмотри, мы истерзаны тѣмъ же? Пусть насъ ругаютъ критики и заслуженные литераторы (если удостоятъ, конечно), намъ это не важно. Намъ важно, чтобы насъ поняли тѣ, кому мы пишемъ, — намъ важно, чтобы насъ поняли «взыскующіе Града».

Но кто же они такіе?

Ихъ много, очень много, гораздо больше, чѣмъ принято думать.

«Своего града не имамъ—новаго взыскуемъ»,— такъ говорилъ гонимый расколъ, по темнымъ лѣсамъ, взлѣлеявъ свою грезу о святомъ градѣ.

Та же тоска по святомъ градѣ лежитъ въ основѣ всѣхъ общественныхъ и идейныхъ броженій русской интеллигенціи. Своего града нѣтъ. Онъ долженъ быть. Безъ него жить нельзя. И ищутъ его до кроваваго пота, до отчаянія, до бунта, до изступленнаго отрицанія всякаго Бога, всякаго града.

Или въ упрямой злобѣ ложатся на знойный песокъ. «Нашелъ! Онъ долженъ быть тутъ. Онъ не можетъ не быть!». А самъ видитъ, ясно, что видитъ, нельзя не видѣть,—пустая жалкая ненужная песчаная отмель. Но попробуй сказать. Съ какимъ страстнымъ убѣжденіемъ, со слезами задыхаясь онъ скажетъ вамъ: доказано, наука доказала, святой градъ тутъ въ этомъ именно самомъ мѣстѣ. Убить готовъ, коли не поддакнутъ. Потому и готовъ убить, что знаетъ на чемъ стоитъ, знаетъ, что песокъ голый, лучше васъ знаетъ и взыскуетъ,—взыскуетъ въ самой этой упрямой слѣпой, какъ кротъ, вѣрѣ своей. Нужна особая минута, какая можетъ быть случается съ человѣкомъ разъ, два въ жизни, чтобы съ глазу на глазъ, уставшій, притихшій, какъ больной ребенокъ, онъ вдругъ открылъ вамъ свою изстрадавшуюся душу. Вы не смотрите, что въ голосѣ его столько убѣжденій, такимъ острымъ огнемъ горятъ глаза,—чѣмъ больше силы въ словѣ, тѣмъ ярче жажда грядущаго града. Я теперь никогда не вѣрю, что люди искренно песокъ принимаютъ за святой градъ,—это отъ нетерпѣнія, отъ ревности, что найти его не удается.

Это «теперь» началось для меня съ тѣхъ поръ, какъ однажды пришелъ ко мнѣ N..

Я почти не былъ знакомъ съ нимъ. Встрѣчались

всего нѣсколько разъ. Но онъ былъ очень популярный, видный дѣятель, и я хорошо зналъ его по разсказамъ. Это была гордость усѣвшихся на пескѣ. На него всегда ссылались, какъ на неопровержимое доказательство, что и песокъ можетъ быть святымъ градомъ: «вся суть въ точкѣ зрѣнія».

Пришелъ онъ въ необычное время, почти ночью. Не раздѣваясь вошелъ въ комнату, сѣлъ на первый попавшійся стулъ и не глядя на меня рѣзко сказалъ:

— Можно на десять минутъ?

— Конечно, пожалуйста...

— Не притворяйтесь, — неожиданно крикнулъ онъ, вскакивая со стула, и сдержавшись быстро заходилъ по комнатѣ.

Помню, странное чувство тогда охватило меня. Оно всегда бываетъ, когда свершается что-нибудь большое. Точно ты знаешь напередъ, что все это обязательно такъ будетъ, и покорно отдаешься факту, не удивляешься, а ждешь и предчувствуешь.

— Вы нашли?—грубо засмѣялся онъ, останавливаясь противъ меня:—вы іезуитъ, лжецъ, — слышите!.. не смѣйте мнѣ возражать... вы смерти боитесь. Нелѣпый обманъ, больше ничего... Безсмертіе... воскресеніе,—лицемѣрное ханжество или тупоуміе,—выбирайте любое...

Онъ говорилъ безсвязно, не давая мнѣ сказать слова.

— Я вамъ не вѣрю, слышите: не вѣрю ни одному вашему слову... Вы ловкій мошенникъ, надувающій всѣхъ.. Христосъ, Воскресеніе, Церковь.. Да знаете ли вы, знаете ли вы, что я плюю на

вашего Христа, плюю и ногой растираю... Не морщитесь, это тоже притворство. И вамъ все равно, все равно... вы не вѣрите...

— Зачѣмъ, отвѣчайте мнѣ, зачѣмъ вы подлые, изувѣры, до двадцатаго вѣка донесли въ ваше гнусное нелѣпое вранье, сумасшедшій бредъ о какомъ-то полубогѣ? Отвѣчайте мнѣ: ѣлъ онъ? пилъ онъ? всѣ функціи совершалъ? Полубогъ, а?... Зачѣмъ вы мучаете людей вашимъ изувѣрствомъ... Признайтесь мнѣ одному съ глазу на глазъ... Послушайте...

Онъ наклонился ко мнѣ.

— ...Признайтесь... я никогда никому не скажу, клянусь вамъ... Скажите, что вы... ну, что вы для своего спасенія... для самовнушенія... однимъ словомъ... что вы Христа не признаете, въ безсмертіе не вѣрите, что вамъ такъ же страшно жить, какъ и всѣмъ, что вы ничего, ничего не знаете... Мой визитъ нелѣпъ... Скажите это—я уйду и ни слова никогда никому...

И сразу мѣняя тонъ, не дожидаясь моего отвѣта (я зналъ, что онъ и не нуженъ ему) тихо, такъ что я скорѣй почувствовалъ, чѣмъ разслышалъ, сказалъ:

— Вѣрите... знаю... такъ это я.

— Вотъ я посижу,—съ разстановкой продолжалъ онъ: разскажу вамъ все и уйду,—забудьте этотъ нелѣпый вечеръ. Я самъ не знаю, зачѣмъ къ вамъ пришелъ. Такъ... Все «такъ» на этомъ свѣтѣ. И больше ничего.

— Мнѣ нужно сказать вамъ... зачѣмъ? Чертъ его знаетъ зачѣмъ. Я ни во что не вѣрю: въ Бога не

вѣрю, въ жизнь не вѣрю, въ смерть не вѣрю, въ безсмертіе не вѣрю и даже... въ революцію не вѣрю. Вы удивляетесь? Вы слышали меня на митингахъ? Это отъ отчаянія. Да, да отъ злобы, что повѣрить не могу,—такъ нате же молъ вамъ: вѣрю, буду вѣритъ,—хочу вѣрить и буду. Плачу, пулю готовъ въ лобъ пустить, а кричу, какъ фанатикъ.. Сегодня со мной что-то дѣлается. Васъ вспомнилъ. Думаю: пойду скажу, что, молъ, лгу я... Вы ради Бога молчите. Такъ нужно. Пришелъ выложилъ нутро и домой за дѣло... Вы нашли—ну и поздравляю васъ. Прощайте. Все это очень глупо, конечно.

Онъ всталъ и не прощаясь пошелъ изъ комнаты. Изъ прихожей онъ крикнулъ мнѣ:

— А вѣдь я вамъ новый козырь далъ? Рады поди...

Онъ былъ правъ. Онъ дѣйствительно далъ новый козырь. Кто говоритъ, единичнымъ примѣромъ ничего нельзя доказывать, но мы не для доказательства и привели этотъ фактъ. Важно иногда уловить одну черту, чтобы сразу открылась вся подлинная дѣйствительность. Въ этомъ одномъ человѣкѣ, какъ въ фокусѣ, отразилась вся психологія нашего революціоннаго движенія. Въ немъ все то же исканіе невѣдомаго, святого града, мечтой о которомъ жилъ и расколъ. Фанатизмъ этого движенія, безпримѣрная сила самопожертвованія, доходящая до жажды мученичества, истерическая, упрямая вѣра,—это отъ нетерпѣнія, отъ ревности, отъ мучительной, неутолимой жажды святого града. Пусть люди умираютъ, томятся въ тюрьмахъ, бро-

саютъ все свое лично благополучіе *словесно* изъ-за «демократической республики», для насъ ясно, что за этими словами стоитъ жгучая греза о всеобщемъ счастьѣ, о какой то высшей правдѣ, которая всѣхъ примиритъ и искупитъ всю пролитую кровь. Брошюры, митинги, рѣчи, отрицанія всѣхъ сортовъ и видовъ, дерзкая бравада, все молъ найдено, все доказано, узкая, досадно—пошлая, показная партійность,—это одно. Это жертва какому-то бездушному, безличному богу Молоху, и тутъ же самая суть души, о чемъ постыдятся иной разъ даже себѣ признаться, мятежное, неутоленное, мучительное исканіе святого града, скрытаго за дремучимъ лѣсомъ.

А сколько жгучей тоски объ этомъ святомъ градѣ вложено въ любви русской женщины. Съ восторгомъ и надеждой прислушивается она къ первымъ, непонятнымъ звукамъ зовущаго куда-то голоса. Довѣрчиво, съ трепетной, святой радостью, она вступаетъ въ свой градъ. И ей начинаетъ казаться, что открывается новый, святой великій міръ. Чѣмъ ближе кажется счастье, тѣмъ мучительнѣй, до нетерпимой тоски, разгорается жажда скорѣй вмѣстить его въ свою душу. Но кто виною, что почти каждая изъ нихъ свое сердце, свой градъ святой, принимая за того кого любитъ, находитъ вмѣсто него циничную грязь, грубую, физическую необходимость, пустоту пошлой повседневности,—и въ лучшемъ случаѣ сладкій миражъ, который улетаетъ безвозвратно и неизбѣжно. Любовь русской женщины всегда въ самой сущности своей оскорбленная любовь. Не потому ли любовь ея такъ безконечно близка къ страданію?

Отравилась никому неизвѣстная, никому ненужная дѣвушка, всѣми брошенная, всѣми презираемая... Можетъ быть и объ этомъ говорить неприлично, какъ неприлично расплакаться на балу? Пусть такъ. Тѣ, у кого такая же святая, такая же несчастная душа, какъ у нея, поймутъ.

Она спустилась до самаго дна грязи, упрямо-сосредоточенно ища и въ развратѣ невѣдомаго Бога. Это юродство. Это абсурдъ, понятный лишь намъ, русскимъ. Проститутка, пьяная, униженная, хуже всякой собаки, она испытующе, со скорбнымъ недоумѣніемъ, всматривалась въ глаза приходившихъ къ ней мужчинъ. Отдавая тѣло свое на позоръ, душу свою на распятіе,—она, цѣной нечеловѣческихъ мукъ, хотѣла купить себѣ вѣру въ Бога и жизнь... Она ждала. Она искала въ винѣ, въ грязи, въ униженіи своемъ святого, незримаго града.

И онъ почудился ей. Почудился ей въ любви. Она готова была вложить въ свое чувство всю надежду свою, всю нестерпимую боль, всю неизвѣданную радость. Быть съ нимъ, служить ему, душу свою отдать за него, выстрадать ему его счастье,—это былъ первый, неясный гулъ, донесшійся до нея изъ таинственнаго, такъ мучительно желаннаго града... Она погибла, потому что онъ не понялъ. И на душѣ его навсегда осталась ссадина ея тоски.

Въ послѣдній вечеръ она пришла, какъ всегда, поговорить.

— Послушайте,—сказала она: ну,—а если я не могу жизнь перемѣнить, тогда что? Знаю, что

въ грѣхѣ вся, чувствую позоръ свой, а исправиться не могу. Что жъ, жить все-таки? Грѣшить, но жить?

—Я не вѣрю въ такой случай,—отвѣтилъ онъ:—кто дѣйствительно *сознаетъ* грѣхъ, тотъ *сможетъ* зажить по новому.

—Ну, а если?

—Послушайте, это нелѣпый примѣръ. Поймите вы,—почувствовать грѣхъ можетъ только тотъ, кто почувствуетъ любовь къ людямъ. Всякій стыдъ, всякое раскаяніе въ основѣ своей носитъ любовь. Въ любви же безконечный источникъ силъ. Человѣку дана свободная возможность въ одну тысячную долю секунды изъ разбойника стать святымъ. Нужно учиться любить.

—Это вы мнѣ говорите, учиться любить? Мнѣ? Я то люблю,—странно засмѣявшись сказала она,—а вотъ меня то...

—Развѣ...

—Не любитъ,—крикнула она:—когда шла сюда, думала можетъ быть ..

Она ушла не договоривъ, а черезъ два дня въ газетной хроникѣ стояло: «въ N—скомъ переулкѣ отравилась карболкой Н. В. М.»

Святой градъ не открылся ей при жизни. Да будетъ воля Твоя.

Видный революціонеръ и захудалая проститутка, что общаго между ними?

Общее между ними то же, что и между всѣми истинными русскими интеллигентами. Боль ихъ, томительная, безысходная мука о святомъ градѣ, неутѣшный плачъ, и глубоко, стыдливо скрытая

отъ глазъ, безпрерывная мольба къ невѣдомому Богу...

Вотъ кто тѣ «взыскущіе Града», которымъ мы пишемъ, которые родные, близкіе намъ, которые поймутъ насъ и не осудятъ за то, что мы не всегда будемъ въ силахъ соблюдать литературные этикеты...

Хорошо,—скажетъ намъ кто нибудь; пишите вы взыскующимъ Града, но какое вы имѣете на то право, сами то вы развѣ нашли ужъ?

Вопросъ очень коварный, почти смертельный. Сказать *нѣтъ*,—тогда что за смыслъ обращеній ничего не нашедшихъ къ ничего не нашедшимъ. Сказать *да*,—значитъ навсегда потерять всякое довѣріе. Въ литературѣ не принято объявлять себя нашедшими истину, традиція требуетъ отъ всякаго роли *идущаго* къ истинѣ. Это во первыхъ, во вторыхъ, что можетъ быть отвратительнѣе человѣка, который, самодовольно ухмыляясь, заявитъ:

—Гмъ... а я нашелъ...

Но мы отвѣтимъ такъ, какъ дѣйствительно думаемъ.

Да, мы нашли. Мы нашли, потому что мы *христіане*. Святой градъ открылся намъ. Онъ съ нами, и никогда уже болѣе мы не уйдемъ изъ него искать новый. Въ этомъ смыслѣ намъ вѣдомо счастье, радость, покой, которыхъ не знаютъ взыскующіе.

Да, мы нашли градъ. Но именно потому, что нашли его, намъ открылись новыя муки. Во первыхъ, мы увидали во всей безконечной сложности то,

что подлежитъ въ этомъ градѣ нашему познанію, —и поняли по-новому муку *познанія истины.* Во вторыхъ, мы почувствовали, какая глубочайшая задача стоитъ передъ нашей волей,—и потому мы по-новому поняли муку о *праведной жизни.*

Мы нашли святой градъ,—но вмѣстѣ съ тѣмъ мы нашли въ немъ невидимыя нити, связующія ищущихъ съ тѣми, которые уже нашли,—а отсюда открылась намъ задача, превосходящая по своей величинѣ и значенію задачу взыскующихъ Града.

Нашедшіе градъ не порываютъ связи съ тѣми, кто лишь идетъ къ нему, напротивъ внѣ града нельзя ощущать въ такой полнотѣ внутреннее единство. Такимъ образомъ, принимая въ душу свою все неутоленное исканіе, всю природу, которая «стонаетъ и мучится до времени», «нашедшіе» черезъ свой покой, черезъ свою христіанскую радость познаютъ высочайшую муку жажды святого града вселенскаго. Не самодовольное почиваніе отъ дѣлъ даетъ тотъ открывшійся святой градъ, о которомъ мы говоримъ,—онъ призываетъ къ великой, окончательной борьбѣ за новое небо, за новую землю преображеннаго космоса. Зная радость нашедшихъ, переживая вся муку ищущихъ и видя, какъ гибнутъ усталые, измученные люди,—все въ душѣ рвется навстрѣчу къ нимъ, чтобы приблизить, открыть имъ святой градъ. Но открыть его незнающимъ значитъ показать всю истину его для сознанія, и всю правду его для жизни. Градъ этотъ живетъ въ душѣ,—и потому открыть его значитъ открыть душу. Этимъ цѣлямъ и будетъ служить нашъ «Дневникъ». А потому не смотрите на него,

какъ на простую литературную затѣю, и не ставьте намъ въ упрекъ того, что мы въ первомъ выпускѣ не скажемъ *всего*, что можемъ сказать о святомъ градѣ.

Это задача «Дневника» въ цѣломъ.

II.

Объ одномъ недоумѣніи.

Часто приходится слышать, какъ одни въ частныхъ, интимныхъ разговорахъ, съ большою мукой, а другіе въ публичныхъ преніяхъ, безъ всякой муки, ставятъ рѣзкій вопросъ: какъ примирить идею абсолютнаго добра съ существованіемъ въ мірѣ зла? Это вопросъ громадный, сложный и трудный. Можетъ быть, напряженія всѣхъ духовныхъ силъ человѣка не достаточно, чтобы дать на него отвѣтъ, исчерпывающій и удовлетворительный во всѣхъ отношеніяхъ. Но кое-что все же можно разъяснить и въ немногихъ словахъ.

Нужно прежде всего себя спросить: насколько отчетливо я представлю себѣ то, примиреніе чего меня затрудняетъ? Конечно, легко однимъ движеніемъ языка сказать—идея Абсолютнаго Добра. Но представляетъ ли себѣ обычное сознаніе хоть сколько-нибудь адекватнымъ образомъ тотъ безконечный смыслъ, который скрывается за этой идеей. *Пережило* ли оно, это обычное, среднее сознаніе, хотя

бы стомилліонную часть того содержанія, которое *необходимо* хотя и отвлеченно, мыслится разсудкомъ и умомъ, даже этого самаго же сознанія, когда оно думаетъ подойти къ идеѣ абсолютнаго добра со стороны логической? А какъ понимать зло? Какъ его чувствовать? какъ воспринимать? Это не меньшій вопросъ. Для вѣрующихъ ясно, что если бы зрѣніе ихъ было сильно, если бы глаза у нихъ были чисты, то они должны были бы видѣть, какъ отъ самаго малѣйшаго проявленія зла (ну хоть отъ того, напримѣръ, какъ налетаетъ бабочка на свѣчку и сгораетъ) идутъ прямыя нити къ Голгофѣ и что всѣ страданія міра какъ-то относятся къ единому центру, къ единому своему сознанію,—къ распятому Іисусу Христу. Должны были бы видѣть. А развѣ видятъ на самомъ дѣлѣ? Кто видитъ, тому и нечего примирять, ибо въ Крестѣ все примиреніе. А кто не видитъ, пусть спроситъ себя, *какое право* имѣетъ онъ задавать этотъ вопросъ, когда ни того ни другого, ни абсолютнаго добра, ни мірового зла онъ не знаетъ, потому, что *не чувствуетъ*, потому, что слова эти для него отвлеченная идея, которымъ нѣтъ ничего дѣйствительно *соотвѣтствующаго* въ его душѣ. Даже странно. Это похоже на то, какъ если бы въ семьѣ, пусть добрыхъ, но ограниченныхъ людей, у которыхъ кругозоръ не идетъ дальше внутренно семейныхъ отношеній, фактовъ и жизни, за чаемъ со свѣжими булками, съ мармеладомъ, съ вареньемъ,—вдругъ стали бы, въ видѣ сопровождающаго пищевареніе разговора, высказывать свои сомнѣнія насчетъ того, правильно ли и цѣлесообразно ли поступили рабочіе 9-го января? Да развѣ

можно съ мармеладомъ во рту, т.-е. абсолютно не переживая и не чувствуя всю грандіозность событія, говорить о такихъ вещахъ? Вѣдь это же будетъ *сплошная ложь*, даже если бы всѣ сужденія были умны и по формѣ правдивы. Ложь, ложь—всякіе разговоры, сопровождающіе и предваряющіе пищевареніе—ложь всякая мысль, въ которой логически содержанія больше, чѣмъ психологически переживается душой. А разъ ложь, то и самый вопросъ о примиреніи существованія зла съ абсолютнымъ добромъ—тоже ложь. Его имѣютъ право и могутъ задать только тѣ люди, которые знаютъ и дѣйствительно чувствуютъ и зло и добро. Но станутъ ли такіе люди его задавать? Кто же больше Христа зналъ абсолютное добро—Отца, Себя и Духа Святаго, и кто же больше Него принялъ въ душу и пережилъ міровое зло и міровыя страданія,—а развѣ Христосъ задавалъ и могъ задать такой вопросъ?...

Но если люди не въ правѣ задавать этотъ вопросъ, то конечно много христіанскаго, много чистаго и того, что благословилъ бы Христосъ, есть въ томъ, что люди мучаются этимъ вопросомъ, что они безкорыстно переживаютъ внутреннія затрудненія, связанныя съ нимъ. Для такихъ людей, не вопрошающихъ, а переживающихъ—есть полное утѣшеніе. Пусть только они представятъ себѣ, что на всѣ тѣ частные случаи зла, всѣ безъ исключенія, которые имъ встрѣчаются въ жизни и которые заставляютъ ихъ страдать отъ недоумѣнія: къ чему они, развѣ нельзя было бы безъ нихъ—на всѣ есть настоящій, реальный отвѣтъ въ томъ, что за всѣ ихъ страдалъ Христосъ муками на крестѣ, и не

только за нихъ, но и за то самое святое страданіе, которое онъ теперь возбуждаетъ въ чистыхъ людяхъ. За всѣ страдалъ и всѣ искупилъ, и вѣрой можно почувствовать, что искупленіе *уже* совершилось, хотя міровой процессъ тянется и еще продолжается. Это такъ же какъ со смертью. Эмпирически она существуетъ, но для вѣрующихъ ея уже *нѣтъ*, потому, что Христосъ ее уже побѣдилъ. Нужно почувствовать и увидѣть въ совершающемся злѣ страданій ликъ Христа. Въ этомъ, и только въ этомъ единый исходъ изъ внутреннихъ недоумѣній, грубымъ и внѣшнимъ выраженіемъ котораго и является вопросъ: какъ примирить идею абсолютнаго добра съ существованіемъ въ мірѣ зла.

III.

Духовный блудъ.

Итакъ, чтобы въ душѣ своей примирить міровое зло съ признаніемъ Абсолютнаго Добра—надо страдать. Не личнымъ—міровымъ страданіемъ. «И былъ потъ Его какъ капли крови, падающія на землю». Но кто знаетъ такую скорбь? Во всякомъ случаѣ менѣе всего тѣ, кто, казалось бы, долженъ былъ знать ее прежде всѣхъ. Мы говоримъ о, такъ называемыхъ, «мистикахъ». Не настоящихъ мистикахъ, а въ ковычкахъ. Владиміръ Соловьевъ и Достоевскій тоже мистики, но кто усумнится въ

ихъ страданіяхъ? Не даромъ Достоевскій писалъ: «всякій человѣкъ за всѣхъ и за вся виноватъ, помимо своихъ грѣховъ, и когда люди эту мысль поймутъ, то настанетъ для нихъ царствіе небесное уже не въ мечтѣ, а на самомъ дѣлѣ». А Соловьевъ въ бреду, умирая, съ жесточайшей мукой говорилъ: «тяжела работа Господня». Они страдали воистину; и эти страданія дали имъ то высшее примиреніе, которое дѣлало ихъ къ концу жизни пророками, постигнувшими тайну Добра и Зла, успокоенными, просвѣтленными. Кровавыми слезами была омыта ихъ Осанна. Не надо читать ихъ произведеній, достаточно посмотрѣть на ихъ лица, чтобы понять, кто они были.

Не то «мистики».

Достоевскій и Соловьевъ, два гиганта религіозной мысли, всколыхнули русскую интеллигенцію. Религіозно-мистическое движеніе послѣднихъ лѣтъ, несомнѣнно было результатомъ ихъ дѣятельности. Но здоровая, подлинная правда начавшагося движенія покуда почти еще не можетъ быть опредѣлена за всей той мистической вакханаліей, которая окружаетъ тихую лампаду на могилѣ Соловьева. Религіозное пламя, зажженное Достоевскимъ и Соловьевымъ, разгорается въ тиши, невидимо, цѣломудренно укрывая свой алтарь съ тѣмъ, чтобы на людей вынести его только тогда, когда наступитъ время апостольски дерзновеннаго исповѣданія имени Христова. А покуда за религіозное движеніе принимается то, что назойливо бьетъ въ глаза.

У насъ, самымъ добросовѣстнымъ образомъ, отожествляютъ между собой религіозное движеніеи

тѣ многочисленные мистическо-декадентскіе кружки, которые, собственно говоря, играютъ роль накипи. Кружковъ такихъ множество, но всѣ они одинаково однообразны и одинаково далеки отъ Христа. Въ одномъ люди поталантливѣй и почестнѣй, въ другомъ больше грязи и люди побездарнѣе. А по существу все то же. Ни въ одномъ изъ нихъ нѣтъ и тѣни религіознаго дѣланія, всюду одинъ и тотъ же *духовный блудъ*.

Нельзя назвать другимъ словомъ то, что дѣлается на всѣхъ этихъ мистическихъ журфиксахъ.

Если блудъ физическій разрушаетъ тѣло и медленно ведетъ къ смерти, — то блудъ духовный еще съ большей силой разлагаетъ душу и еще быстрѣе ведетъ къ гибели. Всѣ эти «мистики»— живые трупы. Религіозные разговоры имъ нужны какъ наркозъ. Только на журфиксахъ они оживляются, приходятъ въ «мистическій» экстазъ, ковыряются во всевозможныхъ «нюансахъ» своей внутренней жизни. И каждый говоритъ о себѣ и для себя, только для того, чтобы поприбавить «настроенія», опьянѣть, притти въ знакомое состояніе мнимаго «наитія» съ тѣмъ, чтобы дома скучно и до пошлости прозаично тянуть свою жизнь. Всѣ «религіозныя» воспріятія исчезаютъ и остается мертвая, усталая ни на что неспособная душа. Эта тоска и тягость возводится на степень «міровыхъ страданій»; въ нихъ начинаютъ копаться, ихъ начинаютъ смаковать, съ тѣмъ, чтобы на другомъ журфиксѣ, въ другомъ мѣстѣ разсказать объ нихъ и притти опять въ ненормальное возбужденіе отъ собственныхъ изліяній. Они собираются, эти

полумертвые люди, по гостинымъ и салонамъ изящно обставленнымъ въ новомъ стилѣ, фальшивымъ языкомъ говорятъ о страданіяхъ и какъ безстыдная женщина оголяютъ подобія своихъ христіанскихъ настроеній и ведутъ салонные разговоры о «Женѣ, облеченной въ солнце», объ «Антихристѣ» о тайнѣ Троицы, о новыхъ откровеніяхъ. Какими бы звонкими именами ни назывались эти кружки Арго, Золотое-ли Руно — суть одна: преступный блудъ духа. Всѣ эти раздушенныя гостиныя, болтовня на религіозныя темы, болѣзненное возбужденіе «мистическимъ» наркозомъ—все это не имѣетъ никакого отношенія къ христіанству, какъ не имѣетъ отношеніе къ любви — блудъ. Развѣ можетъ Карамазовъ — отецъ, съѣденный блудомъ, понять смыслъ любви? Но и «мистики», духовнымъ блудомъ омертвившіе душу свою, неспособны на непосредственное, живое, цѣломудренное религіозное чувство. Оно сейчасъ же дѣлается матеріаломъ для духовнаго блудодѣйствія: его таскаютъ по журфиксамъ, въ немъ копаются на глазахъ у всѣхъ, а если есть литературный талантъ, то еще и тащутъ въ типографію.

Весьма возможно, что всѣ эти уродливыя формы необходимые спутники мучительнаго процесса религіознаго возрожденія, и въ такомъ случаѣ, какъ внѣшніе показатели внутреннихъ процессовъ—онѣ имѣютъ косвенное отношеніе къ христіанству. Но, взятыя сами по себѣ, онѣ, повторяемъ, никакого отношенія ко Христу не имѣютъ и именно потому, что не имѣютъ никакого отношенія къ Голгофѣ.

Внѣ Голгофы — нѣтъ христіанства. Не имѣть

отношенія къ Голгофѣ—значитъ не имѣть отношенія къ христіанству. Если на Крестѣ совершилось подлинное искупленіе, если всѣ муки, не исключая смерти, какъ результата грѣха, были приняты Христомъ въ душу свою и во истину побѣждены Любовью, восторжествовавшей въ Его Воскресеніи,—то всякій желающій пріобщиться Христу, жить вмѣстѣ съ Нимъ, любить Его, служить Ему, долженъ принять въ свою душу Его Голгофу.

Нельзя быть Христомъ, нельзя принять въ душу свою всѣ страданія Его, но взять посильную ношу,—необходимое условіе христіанства. У каждаго своя Голгофа, и каждый, восходя душой своей на лобное мѣсто, по разному предаетъ себя на распятіе. Но, какого бы ни было страданіе это, распятіе въ немъ всегда будетъ страдать со Христомъ, безпрерывно ощущать иглы вѣнца Его— вовсе не значитъ впадать въ безпросвѣтное, преступное уныніе. Въ мукахъ Голгофы уже содержится торжествующая радость Воскресенія. Въ скорбяхъ смерти уже трепещетъ начало истинной жизни. И если христіанство—безпрерывная Голгофа, то въ то же время оно и безпрерывная радость. Мука и радость здѣсь одно. Но такая мука и такая радость *обязываютъ*. Постольку, поскольку будетъ человѣкъ причастенъ страданіямъ Христовымъ,—постольку это выразится и въ религіозномъ дѣйствованіи. Нельзя говорить: я умомъ позналь Христа и душой люблю Его, но не настолько совершенъ, чтобы и воля моя была христіанской. Это ложь. Познаніе Христа, живое участіе въ Его мукахъ Голгофы и въ радости Его

Воскресенія предполагаетъ вѣру. Степень вѣры и любви опредѣляетъ и степень познанія. Вѣра безъ дѣлъ — мертвая вѣра. Христіанскую вѣру нельзя мыслить безъ религіознаго дѣйствованія. Когда вѣра во Христа никакого отношенія къ жизни не имѣетъ—это явная ложь,—не религія, а духовный блудъ. Вотъ потому-то «мистическіе» кружки, все религіозное дѣйствованіе которыхъ ограничивается «настроеніями», циничнымъ ковыряніемъ въ собственной душѣ и салонными разговорами на апокалиптическія темы, — явно враждебны Христу, ибо живой вѣры въ Него не содержатъ. Живая вѣра начинается только тамъ, гдѣ начинается религіозное дѣло. Потому дѣятельность «мистическихъ» кружковъ можетъ служить только отрицательнымъ показателемъ близости дней грядущей Церкви. Подлинная, религіозная энергія хранится въ народѣ, и великое, религіозное возрожденіе будетъ и великимъ народнымъ движеніемъ. Когда темные, забитые, полуголодные люди подставляли 9-го января тѣло свое подъ разстрѣлъ, и съ хоругвями шли умирать за правду—это были первыя вспышки религіознаго вдохновенія.

Народъ мало знаетъ, и то что знаетъ—на половину искажено, но его *вѣра* есть въ то же время и *жизнь*. Онъ вѣритъ въ присягу, и потому готовъ разстрѣлять родного отца. Когда онъ будетъ знать настоящаго Христа, онъ сразу начнетъ и настоящую жизнь. Его стремленіе разобраться въ религіозныхъ вопросахъ, всегда подлинная, духовная работа, но не духовный блудъ. Достоевскаго и Соловьева многое отдѣляло отъ народа, но тотъ и дру-

гой были въ то же время внутренно всегда съ нимъ. Но наши «мистики», во всѣхъ разновидностяхъ, со своимъ журфикснымъ блудодѣйствіемъ, никакого отношенія къ народу не имѣютъ. И не въ томъ дѣло, что они ужъ очень интеллигентны и очень ужъ утончена ихъ психологія, можно съ увѣренностью сказать, что обычный интеллигентъ, атеистъ, гораздо ближе и къ народу и ко Христу, чѣмъ какой-нибудь мистикъ—«аргонавтъ». Нѣтъ, дѣло тутъ не въ интеллигентности, а дѣло въ томъ, что они мертвые люди, мертвой вѣры. Смоковница, которую проклялъ Христосъ. Утонченность «мистиковъ», если и имѣетъ значеніе, то только одно. Она дѣлаетъ иногда почти неуловимой грань между религіознымъ подъемомъ и духовнымъ блудомъ, давая возможность необыкновенно тонко совершать поддѣлку. А потому по различнымъ поводамъ намъ не разъ еще придется вернуться къ тому же вопросу. Ибо страшенъ блудъ физическій, но нѣтъ ничего страшнѣе блуда духовнаго.

IV.

Торжествующая ересь.

Если мы испытующимъ окомъ взглянемъ на наше теперешнее христіанство—то мы должны будемъ сознаться, что оно не есть настоящее христіанство—что оно все проникнуто, все заражено,

все отравлено и обезпложено самою страшною и самою могущественною изъ всѣхъ ересей, которыя только знаетъ исторія Церкви.

Семь Вселенскихъ Соборовъ были посвящены борьбѣ съ различными ересями. Боролись съ людьми, которые такъ или иначе, умаленіемъ то Божеской, то человѣческой природы въ Іисусѣ Христѣ, пытались разрушить единство Его Богочеловѣческой личности.

Боролись и ничего не достигли, потому что главная ересь,—тотъ живой корень, изъ котораго выростали все новые и новые ядовитые ростки,—оставалась совсѣмъ не затронутой. Потому, что ее и не могли затронуть и уничтожить тѣ, кто сами были ею заражены, сами втянуты были въ нее общимъ потокомъ исторіи.

Они боролись противъ людей, разрушавшихъ Богочеловѣчество Христа въ теоріи, а сами растлѣнной жизнью своею по законамъ міра сего (уже тогда христіане по жизни своей не отличались отъ язычниковъ) разрушали это самое Богочеловѣчество на *практикѣ*, и такую практику—*оправдали теоріей*, и такимъ образомъ то, что могло быть лишь временной жизненной неправдой, превратили въ *ересь*, т. е. закрѣпили какъ *законъ и правило жизни*.

Съ тѣхъ поръ эта ересь *росла и крѣпла*, и теперь пышнымъ цвѣтомъ раскинулась на все христіанство. Ее исповѣдуетъ вся учащая Церковь—митрополиты, епископы и священники всѣхъ разрядовъ—всѣ представители офиціальнаго христіанства, и исповѣдуютъ, по-настоящему, *жизнью своею*,

а не только единымъ словомъ. Ею не тронутъ лишь народъ и... часть невѣрующей интеллигенціи.

Основной и единственный догматъ этой торжествующей ереси заключается въ томъ, *что душа каждаго человѣка, крещеніемъ облекшаяся въ Іисуса Христа, можетъ снова, какъ Арій, Несторій, Евтихій—разрушать въ себѣ единство и цѣльность Богочеловѣчности Іисуса Христа, вѣря въ одно, и живя по другому.*

Нельзя отвлеченно вѣрить, что Іисусъ Христосъ *не Богъ,* а лишь первенецъ изъ всего сотвореннаго, но можно громадную область душевной жизни, всю—которая лежитъ между хожденіемъ въ Церковь, въ одно и другое воскресенье—обезбожить и отдать скуднымъ стихіямъ міра сего. Нельзя говорить, что въ Іисусѣ Христѣ воля человѣческая была задавлена волей божественной, но можно мыслью, словомъ, дѣломъ, всѣми поступками своими позорить, безчестить и раздирать въ душѣ своей цѣльный образъ Христа.

Требуется только одно: въ верхнемъ слоѣ душевной жизни, связанномъ непосредственно съ языкомъ, которымъ говорятъ, а у писателей съ рукой, которой пишетъ, пусть все будетъ прибрано похристіански. Тутъ и вѣра должна быть по никейскому символу, тутъ и моральныя эмоціи почти по Евангелію, (*совсѣмъ* по Евангелію — было бы не «смиренно») — ну а дальше — дѣло житейское, дальше — самое сердце душевной жизни можетъ отдаваться чему угодно. Это Церкви уже не касается. Можешь быть фабрикантомъ, угнетать,

растлѣвать, эксплуатировать и держать скованными нуждой тысячи душъ, купленныхъ дорогою цѣной крови Христовой — можешь быть офицеромъ, солдатомъ, давать кощунственную присягу, а потомъ во имя ея совершать преступленіе за преступленіемъ, убивать безпощадно враговъ на войнѣ (и это у *христіанъ*-то враги!) убивать еще болѣе безпомощныхъ, почти безоружныхъ рабочихъ, крестьянъ и рвущуюся къ свободѣ интеллигенцію — можешь быть кѣмъ угодно — ростовщикомъ, сводникомъ, сутенеромъ и все же ты будешь христіаниномъ, потому что ты вѣришь по никейскому символу.

Одинъ священникъ, не отличающійся отъ другихъ священниковъ въ худую сторону, сказалъ на исповѣди гимназисту 7-го класса, когда тотъ признался, что его одолѣваютъ плотскія вождѣленія.

«Я тебѣ совѣтую сходить, знаешь къ женщинамъ... Богъ проститъ... Это лучше, чѣмъ распаляться»...

Пастырь на исповѣди, разрѣшающій итти въ лупанаръ — вотъ лучшая иллюстрація, вотъ типичное проявленіе торжествующей ереси. Христосъ сказалъ, что нельзя смотрѣть «на жену съ вожделѣніемъ» — а представители ереси говорятъ: можно ходить въ лупанаръ. Христосъ сказалъ: «продавайте имѣніе ваше" а они учатъ, что собственность и даже богатство не осуждаются христіанствомъ. Христосъ сказалъ: «не клянитесь», а они учатъ, что присяга не противорѣчитъ евангелію. Христосъ сказалъ: «не убій», а они учатъ что война и военная служба возможны и для христіанъ. И не просто живутъ такъ, а учатъ такъ жить,

т.-е. принципіально объявляютъ евангеліе утопіей и допускаютъ отъ него отступленія, такъ же принципіально, какъ принципіально допускалась у іезуитовъ *ложь*. Жизненную неправду они возводятъ въ принципъ, вводятъ въ ученіе, такъ, что отступающій отъ евангелія уже не осуждается, а благословляется съ точки зрѣнія этого ученія. Ну, развѣ это не ересь?

И мы поставили ее въ связь съ осужденными ересями не по простому сравненію. Увѣровавшій до того тѣсно сливается со Христомъ, что и самое тѣло его становится членомъ Христовымъ. Каждымъ грѣхомъ своимъ онъ отпадаетъ частично отъ этого таинственнаго соединенія. Но если центръ его душевной жизни въ Христѣ, онъ говоритъ: «это грѣхъ»,—кается и всепрощающею любовью Христа поставляется опять въ единеніе съ нимъ тѣми сторонами, которыми отпалъ, въ которыхъ согрѣшилъ. Но если онъ разгородитъ душу свою и скажетъ: «это Богу—а это мамонѣ», эта часть души пусть живетъ во Христѣ, а эта—по законамъ «міра сего», (а это и дѣлается тѣмъ «христіанствомъ», которое мы называемъ ересью)—то онъ раздираетъ не душу свою, а Христа, въ котораго его душа облеклась—онъ снова разъединяетъ въ Христѣ Бога и человѣка, разъединяетъ небо и землю, которыя примирены во Христѣ, и снова и снова душой своей, жизнью своей, дѣйствіемъ отрицаетъ несліянность и нераздѣльность соединенія въ Богочеловѣкѣ двухъ естествъ. Что же это такое, какъ не *внутреннее* аріанство, монофизитство, монофелитство и иконоборчество...

По существу та торжествующая ересь, и эти осужденныя—тождественны между собой. Больше того, она то и есть та историческая основа, изъ которой всѣ онѣ выросли. Замѣтно она появилась уже въ 3-емъ вѣкѣ, когда при гоненіи Деція обнаружилось, что нашлась масса христіанъ, подъ угрозами отказывавшихся отъ Христа. А въ 4-омъ вѣкѣ съ «Равноапостольнымъ» Константиномъ она возсѣла на тронъ и съ тѣхъ поръ, навсегда укрѣпившись, торжествуетъ во всемъ: въ вѣрѣ, въ воззрѣніяхъ, въ жизни.

Полное игнорированіе евангелія и приниципіальное отношеніе къ нему, какъ къ книгѣ несбыточныхъ идеаловъ, сказывается рѣзче всего при обсужденіи церковной реформы.

О церковной реформѣ говорятъ теперь и въ гостиныхъ, и въ «кружкахъ», и даже въ политическихъ партіяхъ. «Церковь въ параличѣ»—сокрушенно признаются «реформаторы». И никому изъ нихъ не приходитъ въ голову, что во всѣхъ этихъ разговорахъ о томъ, какъ поднять «параличную Церковь», «параличъ» ея обнаруживается несравненно больше, чѣмъ въ тѣхъ явленіяхъ, на которыя реформаторы указываютъ.

Невольно всегда поднимается вопросъ: какое право имѣютъ всѣ эти нарядныя дамы, въ брилліантахъ и кружевахъ, или почтенные господа, которыхъ—покуда идетъ обсужденіе церковной реформы—на морозѣ дожидаются кучера (братья ихъ во Христѣ)—какое всѣ они имѣютъ право «поды-

мать» параличную церковь и говорить объ ея реформѣ? Какое, спрашивается, они имѣютъ отношеніе къ Церкви?

Не похоже ли это на то, какъ если бы въ первые вѣка христіанства, гдѣ-нибудь на языческихъ ристалищахъ, собрались знатные патриціи обсуждать вопросъ о тѣхъ или иныхъ измѣненіяхъ въ строѣ христіанскихъ общинъ. Какое безуміе было бы этимъ язычникамъ думать, что ихъ «резолюціи» и «проекты», какъ бы они ни были цѣлесообразны,—могутъ имѣть какое-нибудь отношеніе къ христіанской Церкви. Это даже не самозванство—а цинизмъ, доходящій до издѣвательства. Но, спрашивается,—пора, наконецъ, этотъ вопросъ поставить прямо и честно,—спрашивается, кто изъ всѣхъ этихъ сытыхъ господъ имѣетъ больше отношенія къ Церкви, чѣмъ любой язычникъ, обжиравшійся до рвоты и ежедневно мѣнявшій своихъ наложницъ? Мы и здѣсь не анологію какую нибудь проводимъ, а въ самомъ буквальномъ смыслѣ заявляемъ: всякій, въ своей личной жизни, *сплошь* попирающій заповѣди Христа, какой бы символъ вѣры ни исповѣдывалъ и какъ бы христіаниномъ себя ни величалъ, *внутренно отлученъ отъ Церкви*, и потому къ дѣламъ ея, къ реформѣ ея никакого отношенія имѣть не можетъ. И въ томъ, что язычники собираются реформировать церковь, безпомощность ея сказывается всего сильнѣй. Спрашивается, въ этихъ сборищахъ не носится ли въ воздухѣ духъ все той же, торжествующей ереси, которая впиталась въ кровь и плоть нашу? Чтобы говорить о церковной реформѣ,

надо быть въ *Церкви*, а для этого надо разъ навсегда признать, что евангеліе, книга, предназначенная не для какихъ-то тамъ «грядущихъ поколѣній», которыя «постепенно» научатся жить свято, а книга, данная каждому изъ насъ, новый завѣтъ, новое откровеніе, которое мы теперь же, немедленно же должны претворить въ жизнь.

— Въ такомъ случаѣ христіанинъ одинъ Христосъ, ибо всѣ люди грѣшны, значитъ всѣ отлучены отъ церкви,—вотъ обычное возраженіе, которое подсказываетъ все та же торжествующая ересь. Въ немъ такъ много внѣшней правды, что оно способно соблазнить многихъ.

Да, никто безгрѣшенъ быть не можетъ. Но никакой грѣхъ не долженъ возводиться въ принципъ. Не сознаніемъ только, но всей внутренней жизнью. Всякій грѣхъ долженъ вызывать подлинное страданіе, какъ лишній ударъ бича по тѣлу Христову. Это можетъ быть только въ томъ случаѣ, если вся жизнь *въ цѣломъ* строится по христіански, а грѣхъ есть лишь временное уклоненіе. Но такое уклоненіе не отлучаетъ отъ церкви.

«Если мы говоримъ, что имѣемъ общеніе съ Нимъ, а ходимъ во тьмѣ, то мы лжемъ» (1, 6),—говоритъ апостолъ Іоаннъ. Но какъ можно быть въ Церкви, не имѣя общенія со Христомъ? Это не помѣшало тому же апостолу сказать: «Если говоримъ, что не имѣемъ грѣха,—обманываемъ самихъ себя и истины нѣтъ въ насъ», (1, 8).

Можно *грѣшить* и имѣть общеніе со Христомъ, но нельзя «изрѣдка» подавать милостыню, а *жить* какъ язычникъ и быть съ *Нимъ*. Значитъ, изъ

двухъ одно: или со Христомъ,—тогда «раздай имѣніе свое», «оставь отца своего, мать свою и слѣдуй за Мной», или рысаки, трехъаршинныя шляпы,—тогда открыто и честно надо объявить себя язычникомъ.

Конечно, для христіанскаго сознанія ужасенъ фактъ, что при такомъ условіи всѣ наши собранія по церковной реформѣ должны признать себя языческими сборищами, нравственно незаконно,—а потому и безплодно,—обсуждающими дѣла христіанской церкви,—но еще болѣе ужаснымъ является то, что нѣтъ никакого видимаго органа церкви, который бы, какъ власть имущій, могъ сказать: вы отлучены отъ церкви, и потому, если хотите подымать ея земное, параличное тѣло—прежде всего: *покайтесь!*..

И вотъ всю «официальную церковь», всѣхъ ея служителей и сторонниковъ, мы обвиняемъ предъ Богомъ въ указанной ереси.

И если они захотятъ оправдаться, то пусть отвѣтятъ на нѣсколько изъ многихъ вопросовъ:

1. Почему они, представители официальнаго христіанства, не заявили открыто протестъ противъ *неограниченной* царской власти (самодержавія), въ своей неограниченности рѣзко противорѣчащей евангельскимъ предписаніямъ, и даже вѣками возносили за нее церковныя молитвы?

2. Почему они, когда начались разстрѣлы и массовыя избіенія, не заявили открыто, что дѣйствія растерявшейся власти противорѣчатъ всѣмъ Божьимъ установленіямъ, и что поэтому они отлучаютъ отъ

причастія всѣхъ, кто участвовалъ въ этихъ убійствахъ, и налагаютъ на нихъ церковное покаяніе?

3. Почему они, вступивши въ преступную связь съ государствомъ, поддерживали и охраняли вѣру жандармами, ссылками, тюрьмами, всяческимъ принужденіемъ, и даже до сихъ поръ не потребовали у государства немедленнаго уничтоженія всѣхъ карательныхъ статей по вопросамъ о вѣрѣ?

4. Почему они не проповѣдуютъ противъ смертной казни, противъ угнетателей помѣщиковъ, купцовъ, фабрикантовъ, когда все это явно несовмѣстимо съ именемъ христіанина?

И такихъ вопросовъ, касательно безчисленныхъ частныхъ проявленій торжествующей ереси, можно привести еще много. Пусть же отвѣчаютъ что-нибудь въ свое оправданіе представители офиціальнаго христіанства. Пусть отвѣчаютъ или покаются. Покаются жгучимъ, страстнымъ и такимъ большимъ покаяніемъ, чтобы отъ стараго ничего не осталось. Только пусть не молчатъ, потому что сама жизнь зоветъ ихъ къ отвѣту, уже время зоветъ «*дать отчетъ въ своемъ управленіи*».

V.

«Абсолютное добро» и А. И. Гучковъ.

А. И. Гучковъ, а вмѣстѣ съ нимъ и весь «союзъ 17 октября» заняли удобную, и на ихъ взглядъ несокрушимую позицію, «абсолютнаго добра» въ отношеніи забастовокъ, какъ средства политической борьбы.

«Всякое насиліе мнѣ отвратительно», «забастовки недопустимы, какъ всякое насиліе», «сочувствовать такимъ пріемамъ борьбы, значитъ провозглашать— *безнравственный* принципъ» «цѣль оправдываетъ средство». Вотъ та позиція, которую, съ гордостью безгрѣшнаго инквизитора, занялъ А. И. Гучковъ.

Благодаря такой «принципіальной» точкѣ зрѣнія, на насиліе для «союза 17 октября» не существуетъ цѣлой сѣти тонкихъ и жгучихъ вопросовъ. Какъ отнестись къ той или иной политической забастовкѣ? Какой моментъ для рѣшительнаго удара наиболѣе удобенъ? Каковы могутъ быть его послѣдствія и въ какое отношеніе должна встать партія къ крайнемъ элементамъ?

Принципіальное осужденіе разрубаетъ вопросъ разъ и навсегда. Нигдѣ, никогда никакая забастовка не допустима — ибо нигдѣ, никогда не допустимо никакое насиліе. Никакая цѣль не можетъ оправдать *безнравственныхъ* средствъ.

Но если эта позиція удобна,—то тѣмъ болѣе несокрушима: вѣдь она покоится на «незыблемыхъ началахъ» евангельскихъ истинъ. Въ основу ея положена идея «абсолютнаго добра». Пусть-ка попробуютъ критиковать эти основы. Для этого нужно публично признаться въ безбожіи. «Союзъ 17-го октября» чувствуетъ здѣсь себя подъ защитой богооткровеннаго авторитета. Не даромъ въ свою программу онъ включаетъ „аргоро“ и вопросъ о церковной реформѣ.

Противорѣчія, въ которыя впадаетъ А. И. Гучковъ и его союзъ, настолько очевидны, настолько элементарны даже для тѣхъ, кто никогда никакими абсолютами не занимался, а для человѣка, живущаго религіозными интересами, эти противорѣчія полны такого кощунства, что можно только удивляться, на какіе акробатическіе выгибы способна человѣческая психика.

«Сочувствовать забастовкамъ — значитъ сочувствовать насилію, а это — провозглашать безнравственный принципъ «цѣль оправдываетъ средство». Такую фразу мы собственными ушами слышали отъ А. И. Гучкова на губернскомъ земскомъ собраніи.

Ну, хорошо,—допустимъ, что *всякое* насиліе зло и цѣль никогда не оправдываетъ средства. А что такое военное положеніе? Развѣ военное положеніе не насиліе? Развѣ разстрѣлы рабочихъ не насиліе? Развѣ ссылка въ Сибирь не насиліе? Развѣ хожденіе ночью полиціи по обывательскимъ квартирамъ не насиліе? Но вѣдь все это въ *исключи-*

тельныхъ случаяхъ одобряется А. И. Гучковымъ. Куда же дѣваетъ онъ на это время свой «абсолютъ?»

Почему же, спрашивается, *правительство,* когда «отечество въ опасности», можетъ прибѣгать къ исключительнымъ мѣрамъ и разстрѣливать людей,— а *общество*, когда правительство губитъ страну, поступаетъ безнравственно, прибѣгая къ насилію, т.-е. къ мирной забастовкѣ? Не является ли для А. И. Гучкова военное положеніе средствомъ, которое допускается для благихъ цѣлей? И эта благая цѣль не оправдываетъ ли для него насильственныхъ мѣръ правительства?

Нѣтъ,—дѣло съ «принципіальнымъ» осужденіемъ далеко не такъ просто. Вл. Соловьевъ написалъ много геніальныхъ страницъ на эту тему и все-таки вполнѣ не разрѣшилъ ее. «Абсолютное добро», въ примѣненіи къ насилію, очень легко и просто, когда обращено *налѣво*, но стоитъ повернуть его немножко *направо*, какъ сейчасъ же вся безконечная сложность вопроса встаетъ въ своей силѣ.

Сказать крайнимъ партіямъ—«насиліе—зло»,— очень просто. Но если, на основаніи прибавки, которая обыкновенно дѣлается почти шопотомъ, что, молъ, «съ чьей бы стороны оно ни исходило» — тотъ же тезисъ сказать войскамъ,—получится государственное преступленіе даже съ «абсолютной» точки зрѣнія самаго А. И. Гучкова.

Ужъ если вы хотите рѣшать вопросъ о насиліи, такъ элементарно въ отношеніи *лѣвыхъ*, рѣшайте

его такъ же и въ отношеніи *правыхъ*. Но вы никогда не сможете сдѣлать это, ибо тогда вамъ придется перестать быть политической партіей, а заняться устройствомъ для «союза 17 октября» колоній гдѣ-нибудь въ Закавказьѣ. Если бы А. И. Гучковъ могъ думать безпристрастно, онъ понялъ бы, что вопросъ о насиліи и *налѣво* такъ же сложенъ, какъ и *направо*. А потому, отнесясь къ нему вполнѣ *честно*, нельзя такъ играть словами.

Забастовки можетъ быть и плохое средство борьбы, объ этомъ мы здѣсь спорить не станемъ,—но во всякомъ случаѣ критиковать его надо съ точки зрѣнія цѣлесообразности, какъ оно и приличествуетъ «реальной политикѣ», абсолютной же нравственности лучше не касаться. Идея всякаго Абсолюта слишкомъ сложна и слишкомъ ко многому обязываетъ. И если союзникамъ «17 октября» угодно не играть въ «абсолютики», а дѣйствительно жить сообразно съ ними, то всѣмъ этимъ солиднымъ господамъ, фабрикантамъ и помѣщикамъ, пришлось бы посягнуть на такую позицію, которая можетъ быть дѣйствительно совершенно неприступна, но въ то же время, для нихъ по крайней мѣрѣ и совершенно недоступна.

Я думаю, что психологически совершенно понятна причина, по которой, столь умные и образованные люди, какъ «союзники», никакъ не могутъ замѣтить явнаго противорѣчія между «Абсолютомъ», въ ихъ пониманіи и военнымъ положеніемъ въ ихъ же пониманіи.

Вся суть въ томъ, что когда А. И. Гучковъ и иже съ нимъ говорятъ: забастовщики преступники,— въ нихъ говоритъ *сердце*, когда они заявляютъ: правительство дѣйствуетъ незаконно,—въ нихъ говоритъ мозгъ. Когда Гучковъ говоритъ: мнѣ противна эта революціонная свистопляска,—онъ чувствуетъ всей душой своей, всѣмъ складомъ своимъ это отвращеніе; а когда онъ вноситъ предложеніе о введеніи законовъ, регулирующихъ свободы, онъ просто вноситъ «проектъ», который умомъ своимъ *считаетъ цѣлесообразнымъ* въ данное время. Онъ не знаетъ чувства жажды свободы. Ему непонятны тѣ. кто всѣмъ существомъ рвется къ ней. Для него недоступна эта конечная *цѣль*, которой дышетъ и живетъ все общество и которая для многихъ оправдываетъ даже убійство. Потому у него хватаетъ силъ холодно и безстрастно обсуждать движеніе съ точки зрѣнія абсолютнаго добра.

Но онъ слишкомъ хорошо знаетъ, что такое *законъ и порядокъ*. А потому очень хорошо понимаетъ, что *эта* цѣль можетъ оправдать военное положеніе. И онъ бросаетъ свой «абсолютъ», заявляетъ. что въ исключительныхъ случаяхъ правительство можетъ прибѣгать и къ исключительнымъ средствамъ.

Человѣческій умъ—послушное орудіе. И если внутри ничто не протестуетъ, онъ можетъ удовлетвориться самымъ вопіющимъ противорѣчіемъ.

А. И. Гучковъ даетъ тому чрезвычайно яркій примѣръ.

Отношеніе къ *правымъ* и *лѣвымъ* у него опредѣляютъ вовсе не принципы, и еще того менѣе Абсолютъ,—и принципы и всѣ ухищренія логики нужны лишь для того, чтобы такъ сказать санкціонировать опредѣленное внутреннее отношеніе. Критическая мысль останавливается, когда схема сознанія даетъ желанное русло психологіи. Къ чему искать логическихъ противорѣчій въ томъ, что даетъ душевный покой и усыпляетъ вѣчно тревожную совѣсть. Особенно, если въ основу этого покоя кладется идея Евангельскаго абсолютнаго добра. И съ Божьей помощью Гучковъ гнѣвно громитъ крайнія партіи и требуетъ въ исключительныхъ случаяхъ военнаго положенія.

А. И. Гучковъ, какъ только его лишить ореола абсолюта, изъ героя и защитника нравственныхъ началъ попадаетъ въ жалкую роль одного «лица» изъ персонажей крыловскихъ басенъ.

Съ абсолютной точки зрѣнія какъ то ужъ полагается всѣхъ ругать, и чего-чего только не готова простить русская публика, лишь бы только дѣло велось отъ имени абсолюта. Развѣ мало она прощала графу Л. Н. Толстому жестокихъ словъ по адресу интеллигенціи только за «высшую» точку зрѣнія.

Но безъ абсолюта дѣло мѣняется. Лишенный моральнаго права, въ чемъ найдетъ Гучковъ оправданіе для своихъ нападокъ на забастовки и забастовщиковъ? Забастовки раззоряютъ страну, скажетъ Гучковъ. Но какъ онъ полагаетъ: положеніе

было лучше, когда не было забастовокъ, но была война съ Японіей, или когда данъ былъ манифестъ 17-го октября, достигнутый цѣной разоренія страны? Не станетъ же А. И. Гучковъ отрицать, что если бы никакихъ насильственныхъ мѣръ со стороны общества не предпринималось бы и все ограничивалось бы одними съѣздами и резолюціями, даже если бы таковые и разрѣшались, то А. И. Гучковъ и не могъ бы говорить отъ лица союза 17-го октября, ибо самое слово союзъ было бы до сихъ поръ «нелегально».

А. И. Гучковъ, сидящій подъ дубомъ, который возросъ на почвѣ «преступныхъ» забастовокъ, смакующій падающіе съ онаго манифесты и, съ абсолютной точки зрѣнія, ругающій тѣхъ, кто долгіе годы своею кровью поливалъ этотъ дубъ,—согласитесь, зрѣлище отвратительное.

Мы никогда не стали бы писать о политическихъ взглядахъ А. И. Гучкова, высказывай онъ ихъ какъ реальный политикъ, исключительно съ точки зрѣнія утилитарной. Но Гучковъ пытается взять подъ свою защиту христіанскую мораль, будто бы устраненную крайними партіями. Мораль эта въ покровительствѣ Гучкова не нуждается, но всякій вѣрующій обязанъ по мѣрѣ силъ защитить ее отъ безцеремонныхъ прикосновеній Гучкова съ его союзомъ. Это надо сдѣлать особенно въ виду того, что союзъ заигрываетъ съ духовенствомъ и церковью, къ которой онъ по внутреннему своему складу никакого отношенія не имѣетъ. Довольно ужъ Гринмутъ бичевалъ Христа въ «Московскихъ Вѣдомо-

стяхъ», чтобы еще А. И. Гучковъ, именемъ Іисуса, вводилъ военное положеніе. Можете ругать кого хотите, но не смѣйте ссылаться при этомъ на Евангеліе. Ищите себѣ оправданія въ чемъ угодно, но въ жизни и проповѣди Христа ничего, кромѣ «прямыхъ указаній на геенну огненную» вы найти для себя не можете.

V.

Къ чему ведетъ русская революція?

Апостолъ сказалъ: «наблюдайте времена и сроки»...

Мы переживаемъ время, которое является несомнѣнно громаднымъ историческимъ переломомъ, гранью, за которой лежитъ многое изъ того, что еще не извѣдано человѣчествомъ. Мы вступаемъ въ новую полосу историческаго существованія, начинаемъ новую главу мірового развитія, и, несомнѣнно, это вступленіе находится въ весьма замѣтной зависимости отъ того, что теперь стали называть *русской революціей*.

Къ какимъ результатамъ приводитъ *христіанское* наблюденіе надъ нею—этою русскою революціей? Какія чаянія возбуждаетъ она для «взыскующихъ града»? Эти вопросы невольно тѣснятся и все настойчивѣе просятъ отвѣта по мѣрѣ того, какъ развивается и углубляется ходъ событій. Мы

разскажемъ о нашихъ чаяніяхъ. Пусть въ этомъ будетъ много гадательнаго, но все это переживается нами какъ живыя предчувствія, и потому отчего о нихъ не сказать тѣмъ, кто сами много чувствуютъ и предчувствуютъ?

Русская революція имѣетъ много новыхъ, знаменательныхъ чертъ по сравненію съ своей великой французской прабабушкой. Она нова уже тѣмъ, что совершается не въ 18-мъ вѣкѣ, а въ началѣ 20-го. Много кумировъ изъ тѣхъ, которые въ 18-мъ вѣкѣ въ глазахъ людей сіяли подлинно-Божескимъ свѣтомъ,—многоопытнымъ 19-мъ вѣкомъ повергнуто въ прахъ. И теперь, люди, чтущіе святыню,—они же вожди и герои—принуждены искать новыхъ боговъ, создавать новые лозунги и новыя руководящія идеи.

Въ 18-мъ вѣкѣ еще могли съ энтузіазмомъ, съ почти религіознымъ одушевленіемъ относиться къ «*политикѣ*». Еще не извѣданное политическое освобожденіе могло ослѣплять безконечными перспективами, которыя за нимъ рисовались. Оно могло привлекать наиболѣе цвѣтущія силы исторіи, потому, что тогда слѣпо вѣрили, по крайней мѣрѣ тѣ, кто вдохновлялись, что оно принесетъ за собой чуть ли не рай, приведетъ человѣчество къ грезѣ народовъ—золотому вѣку. И борьба за него могла вдохновлять до изступленія.

Но 19-й вѣкъ заставилъ увѣриться въ *относительности* политическаго устройства. Для всѣхъ стало ясно, что политическая свобода сама по себѣ еще ничего не даетъ. Въ странахъ «свободныхъ»—въ Америкѣ, въ Англіи сохраняется въ полной силѣ

контрастъ нищеты и богатства и эксплуатація массъ достигаетъ самыхъ грандіозныхъ размѣровъ. Это хорошо сознаютъ передовые бойцы русской революціи и не сюда, не въ политическое освобожденіе кладутъ весь жаръ своего напряженнаго чувства, всю силу своей изболѣвшей души. Они знаютъ, что уничтоженіе политическаго рабства необходимо, но борятся за него со страшной рѣшимостью, не отступая лишь потому, что оно стоитъ *первымъ* препятствіемъ на ихъ пути. Они знаютъ отлично, что съ его устраненіемъ—еще не достиженіе завѣтной цѣли, а лишь *начало* дальнѣйшаго, большаго и главнаго. И въ этомъ дальнѣйшемъ—вся ихъ мечта.

Какъ же понимать это дальнѣйшее?

Оно рисуется разно, потому, что оно еще далеко. Къ нему подходятъ мечтой съ разныхъ сторонъ и несомнѣнно пока количественно преобладаютъ *традиціонныя* формы этой мечты. Точку предложенія своей душевной энергіи переносятъ на борьбу *соціальную* и на борьбу за освобожденіе изъ господствующаго по лицу всего земного шара *рабства экономическаго*. Элементъ соціальной борьбы въ русской революціи является весьма замѣтнымъ (а въ дальнѣйшемъ онъ станетъ главнымъ) и въ моментъ его усиленія и обостренія съ особой силой подымаются въ душахъ борющихся лучезарныя перспективы въ будущее. И сюда, въ эти перспективы несомнѣнно переносятъ ту же грезу о золотомъ вѣкѣ. Освобожденіе изъ подъ гнета капиталистическихъ формъ производства, переустройство всей жизни на началахъ соціализма и должно начать новую эру, эру всеобщаго счастья, мира и живого творческаго труда.

Такъ рисуется для однихъ—для громаднаго большинства. Этой мечтѣ они служатъ самоотверженно. Для нея жертвуютъ счастьемъ, удобствами, самою жизнью. Для нихъ это *религія*, и часто переживается ими подлинно религіозно. И какъ жалки, какъ безыдейны и безсодержательны передъ этими двумя крайними партіями всѣ другія партіи компромисса, боязни и безбожныхъ порядковъ!.. Но какъ ни сильны количественно преверженцы этихъ идей, какъ ни интенсивно чувство, руководящее ими, какъ ни великъ и громаденъ запасъ въ нихъ нравственной мощи и самоотверженности,—не въ ихъ идеяхъ и не въ томъ, что связано съ ними, лежитъ главный, еще сокровенный смыслъ происходящихъ событій, ибо не въ этихъ идеяхъ находится ключъ отъ народной души, которая, возставши и пробудившись, и приведетъ «русскую революцію» къ неслыханному и неожиданнному исходу.

Этотъ ключъ въ другомъ.

Если выразителями французской души въ предреволюціонное время были Руссо, Вольтеръ и Дидро, то выразителями наиболѣе глубокихъ и завѣтныхъ русскихъ народныхъ желаній и чаяній были такіе люди, какъ Герценъ, Успенскій, Гаршинъ и особенно *Достоевскій* и *Соловьевъ*. Народъ, который далъ Достоевскаго и Соловьева, самую психику, самый душевный складъ имѣетъ особые. Интеллигенція, имѣющая несомнѣнное родство съ художественнымъ міромъ Достоевскаго, конечно не можетъ очень продолжительное время поклоняться кумирамъ, принимать идоловъ за боговъ; для этого она слиш-

комъ затронута глубочайшими и разъѣдающими сомнѣніями. Основная черта русской души—это желаніе и жажда полной и абсолютной правды, такой абсолютной и такой полной, чтобъ она была *всей* правдой, чтобъ внѣ ея и кромѣ нея ничего уже не было, чтобъ она все примирила и на все дала исчерпывающій отвѣтъ. Эта жажда, которая въ томъ или въ другомъ видѣ живетъ во всѣхъ—и не позволяетъ русской душѣ прочно и навсегда и всею душой привязаться къ тому, что по самому существу дѣла является небезусловнымъ, частичнымъ и временнымъ; она-то и обусловливаетъ собой тотъ особенный *скептицизмъ*, глубокій и скорбный, которымъ проникнута даже самая энергичная и дѣйствующая часть русской интеллигенціи. Дѣйствуя, отдавая душу свою на закланіе, погибая въ сотняхъ и тысячахъ, она все же внутрѣнне не увѣрена, здѣсь ли настоящая правда, то ли это, что подлинно нужно. Отчего въ самомъ дѣлѣ лица французовъ, вступающихъ въ свою революцію, оживлены радостной и восторженной вѣрой въ грядущее счастье, а ликъ русскихъ революціонеровъ — страдальческій ликъ—полонъ мучительной думы? Только ли отъ несходства внѣшнихъ условій? Нѣтъ, тутъ другое.

Съ такими чертами души конечно нельзя быть увлеченнымъ вполнѣ вѣрою во всеспасающую силу соціализма. Нельзя увѣровать по настоящему, что съ нимъ конецъ страданіямъ, побѣда надъ зломъ и начало всеобщей «гармоніи». И вотъ то, что по отношенію къ преувеличеннымъ мечтамъ о политическомъ освобожденіи сдѣлалъ внѣшній опытъ 19-

аго столѣтія, показавшій относительность политическихъ формъ, то тутъ въ отношеніи преувеличенныхъ надеждъ на освобожденіе соціальное, дѣлаетъ опытъ внутренній. Еще не добравшись до цѣли, сами работники начинаютъ смутнымъ безпокойствомъ догадываться, что это не то, чего они хотѣли, начинаютъ ощущать относительность и соціальныхъ формъ, и обусловленность всего внѣшняго механизма соціалистическаго устройства отъ чего-то другого. Отсюда сомнѣніе, отсюда тайная мука невѣрія или неполной вѣры въ дѣло, которому отдается все, отсюда безрадостность и столь характерное отсутствіе энтузіазма.

Это въ интеллигенціи. А какая энергія таится въ народѣ и куда она направляется, какъ только появляются достаточные внѣшніе поводы,—это лучше всего показываетъ движеніе 9 января, которое было существенно религіознымъ.

Такимъ образомъ, не въ экономическомъ освобожденіи, не въ приближеніи къ соціалистическому строю (хотя, вѣроятно, и то и другое будетъ) лежитъ главный смыслъ всего происходящаго, еще не пришедшая къ самосознанію душа совершающагося движенія.

Совѣсть интеллигенціи въ своихъ исканіяхъ, въ самыхъ сомнѣніяхъ и отрицаніяхъ своихъ ясно обнаруживаетъ жажду такой полной правды, которой по самому существу не можетъ быть дано удовлетворенія эмпирическими средствами и въ эмпирической плоскости. Она не помирится съ жизнью, какою бы прекрасною она ни стала, если прошлое, всѣ дикіе, безсмысленные ужасы, вся безконечная

цѣпь страданій не будутъ искуплены. Она не согласится на жизнь, если она, даже въ предѣлѣ своего развитія, останется не преображенной,—если она останется подчиненной слѣпымъ и жестокимъ законамъ природы, изъ которыхъ наиболѣе неустранимый и наиболѣе такой, съ которымъ нельзя примириться—это законъ универсальной и безпощадной смерти. Она не приметъ, наконецъ, такой жизни, которая будетъ простираться лишь на настоящій моментъ, которой останутся незатронутыми всѣ тѣ безчисленныя и безцѣнныя индивидуальности, раздавленныя, смятыя и обруганныя, по трупамъ которыхъ добралась исторія до этой самой пресловутой счастливой жизни,—не приметъ, если всѣ носители не будутъ воскрешены и не получатъ своего участія въ окончательной радости. Совѣсть интеллигенціи нашей какъ правду можетъ принять лишь «новую землю подъ новыми небесами».

Совѣсть интеллигенціи... а народъ?—Народъ за всю исторію свою ни о чемъ другомъ и не мечталъ. Ему не показали подлинной христіанской жизни, онъ *не видѣлъ* еще ни разу за время своего существованія настоящей Церкви. Онъ получилъ отъ Византіи только символы, только возможности, только святыя письмена, которыхъ тогда никто не читалъ въ своей жизни. Но вся жизнь русскаго народа—это постепенное прониканіе въ смыслъ полученныхъ символовъ и параллельно съ этимъ неумолкающая, черезъ всю исторію ярче всего остального проходящая, жажда живого Христа, исканіе истинной Церкви. И Христосъ принялъ «зракъ рабій» исходилъ всю нашу землю. Онъ наполнилъ

русскую душу однимъ сосредоточеннымъ ожиданіемъ, однимъ великимъ сокровеннымъ предчувствіемъ. И нѣтъ, кажется, мѣста въ Россіи, гдѣ бы Его не ждали, гдѣ бы ни мечтали о Немъ, о Его праведномъ царствѣ. Но доселѣ ходилъ Онъ подъ «зракомъ» и доселѣ не открывалъ своего истиннаго Лика.

Не наступаетъ ли теперь время страшное и отвѣтственное, мечтой о которомъ проникнуто все наше прошлое? Не приближаемся ли мы къ завѣтному мигу исполненія всѣхъ историческихъ чаяній нашего народа, къ тому «лѣту благопріятному», въ которое Господь Іисусъ Христосъ придетъ вечерять съ нами и будетъ присутствовать въ насъ явнымъ, осязательнымъ образомъ «въ силѣ и духѣ», и снова воскреситъ въ насъ славный образъ апостольской церкви?

Мы глубоко убѣждены, мы чувствуемъ, что да, наступаетъ, приближается это время.

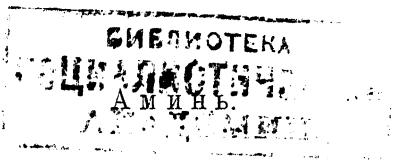
За послѣдніе годы событія одно крупнѣе другого раскачиваютъ русскій народъ, пробуждаютъ его отъ долгаго полусна, довершаютъ его историческое совершеннолѣтіе; онъ все больше и больше *приходитъ въ движеніе* и близится уже время его всесторонняго и сознательнаго *самоопредѣленія*. Онъ добудетъ себѣ свободу политическую, онъ стряхнетъ съ себя, можетъ быть, рабство экономическое, но душой его самоопредѣленія,—вѣримъ,—будетъ не это, а небывалое религіозное возрожденіе, сознательный переходъ на почву подлиннаго христіанскаго прогресса, ведущаго черезъ ужасы и катастрофы послѣднихъ временъ къ запредѣльному Царству Христа.

«Исходъ русскаго соціализма — церковь», говорится гдѣ-то у Достоевскаго. И не можетъ быть другого исхода. Русская революціонная интеллигенція, въ своей напряженной и страстной борьбѣ съ деспотизмомъ, распалилась такой громадной внутренней жаждой, что удовлетворить ее можетъ только одна живая и животворящая вода подлиннаго вселенскаго христіанства. Ея безмѣрныя страданія—это длинный рядъ неслыханныхъ мучительствъ, издѣвательствъ и звѣрскаго надругательства—не могутъ быть приведены *въ соотвѣтствіе* ни съ какими частичными и *относительными* эмпирическими результатами. Безмѣрныя муки могутъ быть утолены только той безмѣрной правдой, которая откроется въ истинѣ возрожденной Церкви, и это возрожденіе Церкви наполнитъ историческую пропасть, разъединившую интеллигенцію отъ простого народа, и она органически, не потерявъ ничего изъ пріобрѣтеннаго, сольется съ нимъ въ одно нераздѣльное живое цѣлое.

Мы вѣримъ въ возрожденіе Церкви, мы его страстно желаемъ и жаждемъ и къ нему-то, по нашему глубочайшему убѣжденію, и ведетъ ходъ русскихъ событій. Душа начатой съ хоругвями революціи русской—въ грядущемъ возрожденіи Церкви. Это возрожденіе вберетъ въ себя всю правду освободительнаго движенія, приметъ всю многовѣковую культуру всего человѣчества, въ жизни, въ наличной дѣйствительности, осуществитъ больше, чѣмъ даже намѣчается въ самыхъ смѣлыхъ мечтахъ соціализма, и явитъ міру ликъ истинной и

полной Христовой Правды.

Это и будетъ вступленіемъ на ту узкую и трудную дорогу, которую искали «взыскующіе» всего міра, дорогу, которая приведетъ черезъ послѣднія времена къ порогу *новаго славнаго и вѣчнаго града*.



Адресъ редакціи: Нащокинскій пер. д. Яковлевой кв. 16.